

ОТ ПЕРЕВОДЧИКОВ

У каждого свой Агнон.

Наш Агнон — это человек, застывший на изломе времен.

Позади него — безвозвратно уходящий мир: стройное здание коллективного еврейского прошлого, скрепленного вековыми законами Торы, мудрой традицией, мучительным опытом многовекового рассеяния. Теплый мир детства, радостный мир юности, знакомый отчий мир. Агнон всматривается в него с любовью и тоской. Он ощущает его неизбежный уход как личную и национальную трагедию. Он хотел бы передать горький и радостный опыт своей жизни новому времени и новым людям, но им этот опыт непонятен и не нужен. Драгоценная книга многовекового знания утрачена. Иногда Агнон думает, что он, быть может, последний, кто призван сохранить ее буквы, ее слова, ее речь.

Перед ним — современность: чужое, хаотичное и безликое настоящее, в котором основы привычного миропорядка рухнули, нити взаимопонимания порваны и человек погружен в одиночество. Этот человек, наш Агнон, с тревогой и недоверием смотрит вокруг. Он наблюдает человеческие страдания, прозревает обманчивость новых путей, ему мерещатся мистические очертания грядущего. Этот человек видит мучительные сны наяву. Иногда ему кажется, что мир обезумел или одичал.

Тем не менее он верен своему призванию и в новом чуждом мире. Его призвание — слово. Слово — это то, что творит единственно подлинную действительность. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». А потом день и ночь. И солнце, луна и звезды. Животные и люди. Вся многоликая реальность.

И вот, налегая плечом и отталкиваясь ногами, Агнон идет и идет по своей писательской борозде и, слово за словом, творит свой, неповторимый мир, в котором любимое, но утраченное время сливается с временем нелюбимым и пугающим в единый поток, уносящий всех нас к неведомому будущему.

Этого Агнона мы и хотели показать в нашем сборнике — во всем многообразии его творческой манеры, в поразительной смене писательских обличей. Нам хотелось провести читателя своенравными зигзагами агноновской мысли. Такой вот путь: только что, казалось бы, мы поняли, каков он, этот классик еврейской литературы, начав с человеческого и грустного, психологически глубокого и

точного «Развода доктора», как вдруг он оборачивается совсем иным — безыскусным рассказчиком простой истории о больном ребенке и великодушном квартиранте. И нам опять чудится, что теперь-то ясно, с каким автором мы имеем дело — ан нет, перед нами уже высится «Песчаный холм», мучительное повествование о поэте и одиночестве, написанное в совершенно модернистском ключе как напряженный внутренний монолог. А едва мы добрались до конца этого лирического рассказа, как начинается жутковатая мистика «Письма», где сплетаются явь и сон и древний Иерусалим прорастает сквозь свои развалины. За «Письмом» идет совсем уж фантастический сюжет о «целом хлебе», где Моисей и черт гуляют в обнимку с рассказчиком, котом и мышью, а следом — еще один крутой поворот, и в книгу словно бы входит совсем иной автор «Документа» и «К доктору», непохожий на всех предыдущих, заплутавший в кафкианских лабиринтах, но, в отличие от Кафки, сохранивший в душе путеводный лучик веры... Однако не успели мы настроиться на эти безысходные сны наяву, как нам является этакий еврейский Гоголь в неотразимо смешных «Рыбах», а за ним, в «Вечном мире», уже совсем не смешной, а скорее мрачно саркастичный то ли Свифт, то ли Салтыков-Щедрин.

И только в последнем рассказе — «Навсегда» — мы видим наконец того Агнона, каким он видит себя сам.

Таким увидели его и мы и таким захотели показать — писателя большого, понятного и близкого всем. Независимо от языка и веры.

РАЗВОД ДОКТОРА

1

Поступив на работу в еврейскую больницу в Вене, я вскоре познакомился там с одной из медсестер — очаровательной светловолосой девушкой, которую любил весь персонал и больные расхваливали наперебой. Едва слышав ее шаги, они поднимались на постели, протягивали к ней обе руки, точно малые дети к матери, и звали: «Ко мне, сестричка, ко мне!» Стоило ее увидеть, как даже у самых ожесточившихся пациентов, которым уже ничто на свете не было мило, угрюмые складки на лицах сразу разглаживались, раздражение как рукой снимало, и они спешили выполнить любое ее указание. И не то чтобы она имела привычку командовать — чтобы привести их к послушанию, ей хватало одной улыбки. Правда, к этой улыбке добавлялось еще и выражение глаз: была в них такая темная синева, что каждому, на кого она смотрела, казалось, будто он для нее — единственный на свете. Я как-то задумался: эта сила — откуда она? Потому что стоило ей в первый раз посмотреть на меня, как я почувствовал то же, что и самый распоследний больной. А ведь она вовсе не меня имела в виду, как, впрочем, и никого из тех, на кого смотрела: девушка эта никем из нас не увлекалась, просто в улыбке на ее губах и в этой синеве глаз было что-то такое, что они сами по себе говорили больше, чем хотела сказать их обладательница.

Она была такой всеобщей любимицей, что даже подружки по работе относились к ней доброжелательно и с симпатией. Да и наша старшая медсестра, худая надменная женщина лет сорока, прокисшая, как уксус, ненавидевшая и больных, и врачей, и вообще все на свете, кроме, разве что, черного кофе, соленых коржиков и любимой собачки, — и та смягчалась, на нее глядя. На любую другую молоденькую девушку она могла бы посмотреть лишь затем, чтобы мысленно представить ее себе хоть наполовину съеденную болезнью (как, помните, была изглодана проказой библейская Мириам, сестра Моисея), но к этой девушке она была добра. Что уж говорить о моих коллегах! Любой врач, которому эта сестра помогала у постели больного, считал, что ему повезло. Даже наш профессор, который готов был отвлечься от страданий бедняги больного, чтобы лишний раз проверить, по всем ли правилам застелена больничная койка, даже он не делал ей замечаний, когда заставал сидящей на этой самой койке.

Бедный старик за свою жизнь воспитал множество учеников и придумал методики лечения нескольких болезней, а смерть нашел через несколько лет в концлагере, где нацистский офицер каждодневно упражнялся в издевательствах над ним. Однажды этот садист заставил его лечь на живот, широко раздвинуть руки и ноги и затем немедленно вскочить, а когда тот проявил недостаточное проворство, стал топтать старика кованым сапогом, раздробил ему большие пальцы рук, и наш профессор скончался от заражения крови.

Признаюсь вам, друг мой, — эта девушка понравилась мне, как она нравилась и всем другим. Добавлю, однако, что и я ей понравился. Конечно, так мог бы заявить и любой другой, но другие не осмелились, а я осмелился, и она стала моей женой.

2

Каким образом? Однажды после обеда я вышел из столовой и встретил Дину. Я спросил:

— Вы заняты, сестра?

Она ответила:

— Нет, я не занята.

Я спросил:

— Что за праздник сегодня?

Она сказала:

— У меня сегодня выходной.

Я спросил:

— И как же вы отпразднуете свой выходной?

Она сказала:

— Я еще не придумала.

Я сказал:

— Тогда позвольте дать вам совет.

Она сказала:

— Сделайте милость, господин доктор.

— Но только с условием, что вы мне уплатите за консультацию, — сказал я. — В наше время ничего не делается даром.

Она посмотрела на меня и засмеялась.

— Вот, я надумал для вас хороший совет, даже два в одном, — сказал я. — Во-первых, мы отправимся в парк развлечений, в Пратер, а во-вторых, пойдем в оперу. А если мы к тому же поспешим, то успеем зайти по дороге в кафе. Вы согласны, сестра?

Она весело кивнула.

— Так когда же мы пойдем? — спросил я.

— Когда захотите, господин доктор, — сказала она.

— Хорошо, я разделаюсь со своими делами и сейчас же вернусь, — сказал я.

— Господин доктор застанет меня готовой, — сказала она.

Она отправилась в свою комнатку, а я пошел управляться с делами. Час спустя я зашел к ней и увидел, что она уже переоделась. Она вдруг показалась мне совершенно другой, и эта новизна будто удвоила ее обаяние — к тому, что было в ней, когда она носила белый халат, теперь прибавилось то, что появилось вместе с новым нарядом. Я сидел там, в ее комнатке, разглядывал цветы, стоявшие на столе и на тумбочке возле ее узкой кровати, расспрашивал Дину, знает ли она их названия, и сам называл каждый цветок — сначала по-немецки, потом на латыни. Я уже начал бояться, что вот-вот привезут какого-нибудь тяжелого больного и меня позовут к нему. Поэтому я встал и заторопил ее. Мне показалось, что она сожалеет.

— О чем вы жалеете? — спросил я.

— Я думала, что смогу угостить господина доктора, — сказала она.

— Нет, сейчас мы уже пойдем, — сказал я, — но коль уж вы так добры, то по возвращении я с удовольствием найду к вам опять и отведаю все, чем вы меня угостите. Еще и добавку попрошу.

— Мне позволительно на это надеяться? — спросила она.

— Обещание уже дано, — сказал я. — И более того, как я уже намекнул, я еще попрошу добавки.

Мы вышли из больничного двора, и я сказал привратнику:

— Видите эту сестру — я увожу ее отсюда.

Он посмотрел на нас добродушно и сказал:

— Дай вам Бог, господин доктор, дай тебе Бог, сестра Дина.

Мы направились к трамвайной остановке. Пришел первый трамвай, наполненный до отказа. За ним пришел второй, и мы хотели было на нем поехать, Дина даже поднялась в вагон, но, когда я стал подниматься за ней следом, кондуктор сказал, что все места заняты. Дина сошла, и мы стали ждать следующего. Я подумал: «Те люди, которые заверяют, будто не следует жалеть о двух вещах — ушедшем трамвае и ушедшей девушке, — потому, мол, что за ними вскоре придут другие, они просто глупцы». Ведь если говорить о девушке, разве могла прийти другая такая, как Дина, а что до трамвая, то сейчас мне было жаль любой задержки.

Пришел трамвай загородного маршрута. Вагоны были

новые, просторные и пустые, и мы поднялись и сели. Мгновенье спустя (а по часам — так спустя добрый час) трамвай достиг конечной остановки, и мы оказались в красивой местности, где тянулись сплошные сады и лишь изредка попадались дома.

Мы шли, болтая о нашей больнице, и о больных, и о старшей медсестре, и о врачах, и о нашем профессоре, который на днях распорядился, чтобы почечные больные раз в неделю ничего не ели, потому, видите ли, что какой-то человек, у которого подозревали болезнь почек, постился в Судный день и после этого у него не нашли белка в крови. Потом мы припомнили, как много инвалидов прибавила в городе война, и порадовались, что гуляем там, где их не увидишь. Но тут я с досадой воскликнул:

— Да оставим наконец в покое больных и инвалидов, поговорим лучше о чем-нибудь веселом!

Она согласилась, хотя по лицу ее было видно, что она сомневается, удастся ли нам найти другую тему для разговора.

В саду играли дети. Они увидели нас и начали шептаться. Я сказал:

— Знаете ли вы, сударыня, о чем говорят эти дети? Они говорят о нас с вами.

Она сказала:

— Да, возможно.

Я сказал:

— И знаете, что они говорят? Они говорят, что мы жених и невеста.

Она покраснела и сказала:

— Да, возможно, что и так.

Я спросил:

— И что вы об этом думаете?

Она сказала:

— О чем?

Я сказал:

— О словах этих детей.

Она сказала:

— А зачем мне об этом думать?

Я сказал:

— А если бы это было на самом деле так, что бы вы сказали?

Она спросила:

— Что имеет в виду господин доктор?

Я набрался смелости и сказал:

— Если бы то, что сказали дети, было правдой, то есть что мы друг другу пара?

Она засмеялась и подняла глаза.

Я взял ее руку и сказал:

— Дайте мне и вторую вашу руку.

Она протянула.

Я наклонился, поцеловал обе ее руки одну за другой и посмотрел на нее. Она покраснела еще сильнее.

Я сказал:

— Существует поговорка, что устами младенцев и дураков глаголет истина. Что сказали младенцы, мы уже слышали. А теперь послушайте, что говорит дурак, то есть я, потому что ко мне пришла мудрость. — И, запинаясь, выговорил: — Послушайте, Дина...

Я еще не успел высказать все, что было у меня на сердце, а уже ощутил себя самым счастливым человеком на свете.

3

Поверьте, друг мой, никогда в жизни мне не было так хорошо, как в те дни между обручением и свадьбой. Если прежде я думал, что люди вступают в брак лишь потому, что мужчине просто нужна женщина, а женщине нужен мужчина, то теперь я понял, что нет ничего прекрасней этой взаимной потребности. В те дни я стал понимать, почему поэты сочиняют любовные стихотворения, хотя меня самого в ту пору не интересовали ни поэты, ни их стихи, потому что они говорили о других женщинах, а не о Дине. Я не раз сидел и дивился — ведь сколько медсестер в больницах, сколько женщин на свете, а я ко всем равнодушен, кроме вот этой единственной, к которой обращены все мои мысли. Однако всякий раз, когда я снова видел Дину, я говорил себе — нет, только умалишенный мог бы поставить ее в один ряд с другими женщинами. И Дина — она тоже относилась ко мне, как я к ней. Вот только эта густая синева, что в ее глазах, все темнела и темнела, точно туча, готовая пролиться слезами.

Однажды я спросил ее об этом. Она посмотрела на меня и ничего не ответила. Я спросил снова, но она лишь тесней прижалась ко мне и сказала: «Разве вы не знаете, как вы мне дороги и как я вас люблю». И улыбка тронула ее грустные губы. Та ее улыбка, что сводила меня с ума своей сладостью и своей печалью.

Я спрашивал себя — если она любит меня, о чем же ей печалиться? Может быть, у нее бедная семья? Но я слышал от нее, что ее родственники вполне состоятельны. Может быть,

она уже дала слово другому. Но она сказала мне, что свободна распоряжаться собой. Я стал допытываться. Она удвоила свою нежность, но по-прежнему не отвечала.

Все же я решил поинтересоваться ее родственниками. А вдруг они были богаты раньше, но потом разорились, и Дину печалит их беда. Но выяснилось, что некоторые из ее родни — крупные промышленники, а другие хорошо известны в своих профессиях и зарабатывают очень прилично. Я ощутил гордость за себя. Я ведь родом из бедной семьи, сын простого жестянщика, однако всегда стараюсь одеваться строго. Впрочем, Дина никогда не обращала внимания на то, как я одет, разве что я сам просил ее посмотреть. Но это лишь усиливало мою любовь к ней. Что, кстати, шло вразрез с логикой — ведь я уже отдал ей всю свою любовь без остатка. Как и она — вся ее любовь была уже отдана мне. Но в этой ее любви оставалась капля печали, которая добавляла каплю горечи к моему ликованию.

Малая капля, но она жгла все мое существо. И я не переставал размышлять: эта ее грусть — что в ней таится? Может быть, печаль — это просто свойство любви вообще? Я снова попробовал уговорить ее открыться. Она пообещала, но продолжала по-прежнему уклоняться, а когда я напомнил ей это ее обещание, взяла мою руку в свою и сказала:

— Давайте радоваться, мой друг, давайте радоваться и не будем омрачать нашу радость.

И снова вздохнула так, что у меня защемило сердце от этого вздоха.

Я воскликнул:

— Ради Бога, Дина, о чем вы так вздыхаете?

Она улыбнулась сквозь слезы:

— Молчите, друг мой, пожалуйста, молчите.

Я умолк и перестал расспрашивать. Но душа моя не знала покоя, и я все ждал, что она согласится наконец открыть мне свою тайну.

4

Однажды после полудня я зашел ее проводить. Она была свободна от ухода за больными, сидела у себя в комнатке и шила себе новое платье. Я приподнял подол ее шитья, погладил его рукой и поднял взгляд на нее. Она вдруг посмотрела мне прямо в глаза и негромко сказала:

— У меня были отношения с другим человеком.

Потом увидела, что я не понял, встала и объяснилась до конца. Сердце мое оборвалось. Меня колотил озноб. Я

молчал, не в силах выговорить ни слова. Потом наконец пробормотал, что такого рода мысль мне никогда бы не пришла в голову. И сказав это, продолжал сидеть, озадаченный и удивленный. Я был озадачен своим спокойствием и удивлялся ей — тому, что она совершила поступок, который был настолько ниже ее достоинства. Тем не менее я продолжал обращаться к ней как и раньше, словно мое отношение к ней ничуть не изменилось. И действительно, в эту минуту она нисколько не потеряла в моих глазах и я любил ее, как прежде. И когда она поняла это, прежняя милая улыбка вернулась на ее лицо. Но глаза Дины остались затуманенными, как у человека, который из одной темноты перешел в другую. Я спросил:

— Что же это за человек, который мог бросить вас и не жениться?

Она не ответила.

Я сказал:

— Милая Дина, разве вы не видите, что я вовсе не сержусь на вас? Мой вопрос вызван просто присущим мне любопытством. Так скажите же мне, кто этот человек и как его зовут?

Она сказала:

— Какая вам разница, как его зовут...

Я сказал:

— И все же мне интересно.

Она назвала мне имя.

Я спросил:

— Что, он доцент или профессор?

Она сказала:

— Нет, просто чиновник.

Я подумал про себя, что ее богатых родственников наверняка обслуживает множество крупных чиновников, всякие ученые, эрудиты, изобретатели, и, вероятно, она отдала сердце самому значительному из них. На самом деле не так уж и важно, кому именно отдала сердце женщина, которую я люблю больше всего на свете, но все же мне как-то льстило думать, что это была заметная фигура, выше всех окружающих.

Я сказал:

— Значит, он был служащим, понятно, а в какой же должности?

Она сказала:

— Он служил письмоводителем в парламенте.

Я сказал:

— Вы меня удивляете, Дина. Как это такой мелкий чиновник, какой-то писарь, настолько покори́л ваше воображение — и не только покори́л, но еще и бросил вас потом, что, в сущности, доказывает, что он с самого начала вас не стоил?

Она опустила глаза и промолчала.

С того дня я ни разу не напоминал ей о ее прошлом, как не напоминал, какое платье она надевала вчера. А если сам вспоминал, то немедленно прогонял это воспоминание. Вплоть до самой свадьбы.

5

Мы встали под хупу¹ так же, как большинство других в нашем поколении — без огласки, никого не приглашая. Я — потому что у меня вообще нет родственников, кроме разве того, который когда-то дал моему отцу в глаз. А Дина — она с того дня, как сблизилась со мной, отдалилась от своей родни. Кроме того, в те дни людям было не до вечеринок и не до веселья. Одна власть уходила, другая шла ей на смену, а в междувластии — смятение, растерянность, безумие и страх. Те, что правили вчера, сегодня уже брошены в тюрьму или скрываются за границей.

Итак, мы встали под хупу без близких и без знакомых, был только собранный синагогальным служкой миньян², жалкие люди, которые часом раньше были свидетелями на похоронах, а теперь вот на свадьбе. Каким убогим был их позаимствованный для такого случая наряд, какими смешными были их высокие цилиндры, какими наглыми и жадными были их глаза, пока они ждали, когда закончится свадебная церемония и они смогут наконец на заработанные деньги отправиться в пивную. Но я был в хорошем настроении, и все это, как ни странно, не мешало мне радоваться. Пусть других ведут под хупу богатые и знатные шаферы — я пойду с бедняками, которые заработают пару грошей, постояв свидетелями на моей хупе. Наши дети не спросят меня, кто был на моей свадьбе, так же как я не спрашивал своего отца, кто был на свадьбе у него. Я пошарил в кармане, вынул несколько шиллингов и дал служке, чтобы он разделил их между этими людьми в добавление к оговоренной плате. Служка взял деньги и пробормотал положенные слова. Я испугался, что сейчас они бросятся ко мне и начнут осыпать меня благодарностями. Я уже приготовился сказать, что оно того не стоит, но никто из них

не подошел. Один стоял, опираясь на палку, другой тянулся, стараясь выглядеть повыше, а третий непристойно уставился на невесту. Я спросил о нем служку. Этот, сказал служка, растягивая букву «э», э-э-этот служил где-то, но его выгнали оттуда. Я кивнул и сказал «так-так», словно эти два «так» подводили итог всем его делишкам. Тем временем служка выбрал четырех приглашенных, дал им в руки четыре шеста и растянул на этих шестах свадебный балдахин. При этом он толкнул одного из них, так что тот чуть не упал, и один угол балдахина накренился в его сторону.

И тут, стоя под хупой, я вдруг припомнил историю одного человека, которого любовница вынудила жениться на себе. Этот человек пошел и собрал всех, с кем она грешила раньше, чтобы напомнить ей ее позор, а себе самому отомстить за то, что он согласился взять ее в жены. Низок был этот человек, а поступок его отвратителен. Но я — я вдруг его понял, и поступок его мне понравился. И пока раввин зачитывал брачный контракт, я все смотрел на своих шаферов и представлял себе, каково было в тот момент той женщине и каково было ее любовникам. А перед тем, как жена протянула мне палец для обручального кольца и я сказал ей: «Отныне ты посвящаешься мне», — я уже знал по себе и то, каково тогда было самому тому человеку.

6

После свадьбы мы поехали в деревню, провести медовый месяц. Не буду утомлять вас, мой друг, рассказами обо всем, что произошло с нами по пути к вокзалу, и на вокзале, и в поезде, и не буду описывать каждую гору и долину, которые мы видели, и перечислять все водопады и реки, текущие по тем горам и долинам, как это делают беллетристы, приступая к рассказу о путешествии только что обвенчавшихся молодых супругов. Несомненно, были там и горы, и долины, и водопады, и реки, и наверняка с нами произошли по дороге какие-то события, но все это выпало из моего сознания и было забыто из-за того, что случилось в первую ночь. Если вы не устали, я расскажу.

Мы прибыли в деревню и расположились в маленькой гостинице, утонувшей среди садов, окруженных высокими горами. Мы поужинали и поднялись в комнату, отведенную нам хозяином, которому я телеграфировал еще до свадьбы. Моя жена осмотрела комнату и остановила взгляд на красных розах, стоявших на столе. Я сказал шутливо:

— Кто это здесь так любезен, что послал нам такие

преlestные розы?

— В самом деле, кто? — с недоумением спросила жена, как будто всерьез допускала, что в этой деревне кто-нибудь еще знает о нас, кроме персонала гостиницы.

Я сказал:

— В любом случае я их уберу, их тяжелый запах мешает сну, хотя в честь такого знаменательного дня могу и оставить.

Она сказала:

— Да, да, конечно... — но голос у нее был, как у человека, который говорит и не слышит своих слов.

— И ты даже не хочешь их понюхать? — спросил я.

Она ответила:

— Да-да, конечно, хочу.

И не понюхала, тут же забыла. Странная забывчивость для Дины, которая так любила цветы. Я напомнил ей:

— Ты их так и не понюхала.

Она наклонила голову к цветам.

Я сказал:

— Зачем ты наклоняешься, ты ведь можешь поднести их к лицу.

Она посмотрела на меня так, будто услышала что-то неожиданное. Та синева в ее глазах потемнела, и она сказала с легкой укоризной:

— А ты наблюдателен, мой дорогой.

Я ответил ей долгим поцелуем, потом закрыл глаза и сказал:

— Вот, Дина, теперь мы одни.

Она встала, с непонятной медлительностью сняла дорожную одежду и поправила волосы. Потом села и опустила голову. Я наклонился посмотреть, что она делает и почему так медлит, и увидел, что она держит в руках маленькую книжечку, из тех, что лежат у входа в католические церкви, раскрытую на заголовке: «Ждите своего Господа каждый час, и Он придет».

Я приподнял ее подбородок и сказал:

— Твой господин уже пришел, и ты больше не должна ждать.

Она с грустью выпустила книжечку из рук. Я прижался губами к ее губам, потом поднял ее на руки, положил на кровать и прикрутил фитиль лампы.

Цветы источали сильный аромат, и меня окутала сладкая темень. И тут я услышал чьи-то громкие шаги в соседней комнате. Я попробовал отвлечься от этого звука. Действительно, что мне за дело, есть там за стеной кто-

нибудь или нет. Я его не знаю, и он нас не знает. А если даже знает, то ведь мы уже были под хупой и теперь законные супруги. Я еще сильнее обнял Дину и ощутил, что безгранично рад ей, и знал, что теперь она моя безраздельно.

Все еще держа ее в объятьях, я чуть приподнялся, чтобы прислушаться, не умолкли ли звуки за стеной. Но этот человек по-прежнему шагал и шагал там, не переставая. Эти шаги бесили меня, и мне вдруг пришла в голову мысль, уж не тот ли это чиновник, с которым моя жена была знакома до нашей свадьбы. Эта мысль ошеломила меня, и я с трудом удержался от грязного ругательства.

Дина почувствовала что-то.

— Что с тобой, друг мой? — спросила она.

— Ничего, ничего, — ответил я.

— Но я вижу, что тебя что-то беспокоит, — сказала она.

— Я уже все тебе сказал, — ответил я.

— Значит, я ошиблась, — сказала она.

Кровь ударила мне в голову, и я вдруг сказал:

— Нет, ты не ошиблась.

— Так что же с тобой? — спросила она.

Я сказал.

Она разрыдалась.

— О чем ты плачешь? — спросил я.

Она проглотила слезы и сказала:

— Распахни настежь окна и двери и сообщи всему миру о моем распутстве.

Мне стало стыдно своих слов, и я начал, как мог, утешать ее. В конце концов, она успокоилась и мы помирились.

7

С той ночи этот человек всегда стоял перед моими глазами, была Дина рядом или нет. Когда я сидел один, то размышлял о нем, а когда разговаривал с ней, то вспоминал его, и если видел цветок, то сразу вспоминал красные розы, а если видел красную розу, я вспоминал его — не такие ли цветы он обычно дарил моей жене и не по той ли причине она не захотела понюхать мои розы в ту первую ночь, что стеснялась нюхать при муже такие же цветы, как те, что ей когда-то дарил любовник. Если она плакала, я утешал ее, но в моем примирительном поцелуе мне слышался отзвук другого поцелуя — того, которым ее целовал другой. Вот оно как: просвещенные все мы теперь люди, цивилизованные, требуем свободы для себя и для всех прочих, а как нас самих коснется — хуже любого мракобеса.

Первый год прошел для меня так. Когда я радовался жене, мне тут же вспоминался тот, кто отравил мою радость, и я впадал в уныние. А когда жена была весела, я думал про себя, с чего это ей так весело, — наверно, вспомнила того мерзавца, вот и радуется. Когда я напоминал ей о нем, она раздражалась слезами, и тогда я говорил ей: «Почему ты плачешь, тебе так тяжело слышать, как я его ругаю?» Я знал, что она давно уже исторгла его из своего сердца и перестала о нем думать, а если вспоминала, то не по-доброму, я знал, что она никогда не любила этого человека и только его крайняя наглость и ее минутное легкомыслие привели к тому, что она потеряла власть над собой и уступила ему. Но мне было недостаточно этого знания. Мне хотелось проникнуть в его характер, хотелось разгадать, что же в нем было такого, что могло привлечь к нему сердце скромной девушки из хорошей семьи. В надежде найти хоть клочок письма от него я начал рыться в ее книгах, потому что Дина имела привычку использовать письма в качестве закладки, — но ничего не нашел. Я подумал, что она, возможно, спрятала его письма в каком-нибудь тайном месте, потому что ведь я искал во всех ее книгах и ничего не нашел, но рыться в ее личных вещах мне казалось недостойным, и это еще больше злило меня — вот, притворяюсь перед собой порядочным человеком, а мысли у меня самые грязные.

Поскольку я ни с кем сторонним не хотел говорить о ее прошлом, то стал искать совета в книгах и для этого начал читать любовные романы, пытаюсь понять по ним характер женщин и их любовников. Но романы навевали на меня скуку, и я обратился к чтению криминальной хроники. Друзья посмеивались, уж не собираюсь ли я перейти в уголовный розыск.

Второй год не принес облегчения. И если даже проходил день, когда я не упоминал его, то на следующий день говорил о нем вдвое обычного. От всех тех мук, которые я ей причинял, жена моя заболела. Я лечил ее болезнь микстурами и продолжал терзать ее сердце словами. Я говорил ей: «Все эти болезни навлек на тебя тот человек, который сломал твою жизнь, и вот сейчас он предается распутству с другими девицами, а мне оставил женщину с надорванным здоровьем, чтобы я ухаживал за ней». Тысячу раз я раскаивался в этих словах и тысячу раз их повторял.

В ту пору мы с женой начали посещать некоторых ее родственников. И вот какая странность. Я уже говорил вам, что Дина была из хорошей семьи и среди ее родственников

были именитые люди. И вот образ их жизни и сами они как-то смягчили меня, и я стал лучше относиться к Дине. То были внуки выходцев из еврейского гетто, уже достигшие тех почестей и того богатства, когда почести украшают богатство, а богатство умножает почести, и даже в наши дни, когда большая часть государственных мужей наживает капиталы на страданиях голодающих, они держались в стороне от грязных денег. К тому же они не предавались чревоугодию, а ели весьма умеренно. Среди них были такие импозантные люди, каких мы можем только вообразить, но никогда не устаивались увидеть собственными глазами. А их жены были еще замечательней. Вы не знаете Вену, но если бы знали, то сразу припомнили бы тех евреек, по поводу которых так зубоскалят австрийцы. Доведись этим зубоскалам увидеть еврейских женщин, которых повидал я, они проглотили бы языки. Меня не беспокоит то, что говорят о нас другие народы, мы все равно никогда им не понравимся, нечего и надеяться, но если уж я упомянул злословие австрийских мужчин, то воздам хвалу еврейским женщинам — ведь нет брату большей похвалы, чем похвала его сестрам, которыми он возвышается и превозносится.

Вскоре я начал навещать родных Дины независимо от нее, как будто это я был их родственником, а не она. А про себя думал — когда б они только знали, какие страдания я ей причиняю. И порой уже готов был открыть рот, чтобы излить перед ними душу. Но, почуяв, чего жаждет мое сердце, я начал отдаляться от них. И они, само собой, стали отдаляться от меня. Велик город, и у всех свои дела. Избегает человек друзей своих, не станут и они добиваться его внимания.

На третий год моя жена избрала иной способ поведения. Теперь, если я упоминал того человека, она не обращала внимания на мои слова, а если я присоединял его имя к ее имени, молчала и не отвечала ничего, словно я не о ней говорил. Меня это все больше раздражало, и я то и дело думал — какой же нужно быть жестокой, чтобы так ничего не чувствовать.

8

Как-то раз, на исходе летнего дня, в сумерки, мы сидели за ужином — я и она. Уже давно не было дождей, и город плавился от зноя. Воды Дуная позеленели, по улицам стлался странный запах. От окон нашей застекленной веранды шел тяжелый жар, изнуравший и тело, и душу. Уже накануне меня начала беспокоить боль в плечах, а к вечеру она еще больше

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.